

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

“ЛЕЖУ БУХОЙ И ЭПОХАЛЬНЫЙ...”

В 1960 году после трёхлетней работы в тайшетской газете “Сталинский путь”, переименованной в эпоху “оттепели” в “Заветы Ленина”, я вернулся в Москву. Переименование газет, колхозов, улиц в те времена было делом обычным. Начатое на XX съезде КПСС “вышибание Сталина Лениным” произошло на всех уровнях политической, партийной и культурной жизни, о чём с гордостью писал Евтушенко в своих воспоминаниях: “Я принадлежу к тем “шестидесятникам”, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина”. Об одном лишь забыл наш лукавый царедворец: о том, что он сам своими первыми стихами из книги “Разведчики грядущего” создавал вскоре ставший ему ненавистным “призрак Сталина”.

Вернувшись в Москву я был принят в Союз писателей и стал зарабатывать на жизнь, выступая в разного рода аудиториях, за что Бюро пропаганды художественной литературы платило мне после каждого выступления по 16 рублей. Именно на этом поприще судьба свела меня с Андреем Вознесенским – мы познакомились в знаменитом музее Маяковского в Гендриковом переулке, в особняке, где ещё до революции жили Владимир Маяковский и Лиля Брик со своим официальным мужем Осипом, о котором Сергей Есенин сочинил убийственную эпиграмму:

*Вы думаете, Ося Брик
Исследователь языка?
Нет, он на самом деле шпик
И следователь ЧК.*

Мы с Вознесенским, только что издавшие свои первые книги: я – сборник “Землепроходцы” в родной Калуге, а он – “Мозаику” в родном ему Владимире, – сорвали положенные нам аплодисменты в небольшом зале музея, пожали друг другу руки и пошли каждый своим путём, каждый веря в свою звезду. Я тогда читал стихи о своей жизни и работе в Сибири, о строительстве калужскими комсомольцами железной дороги Тайшет–Абакан, а он декламировал поэму “Мастера”, в которой клялся строить советские города и гидроэлектростанции будущего:

*Я,
Вознесенский,
воздвигну их...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракеты
столупенчатой
взвивались
в мирозданье.
И завтра ночью тряской
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!*

Но “завтра” он поехал не на Братскую ГЭС, а в Америку, где срочно сочинил “Монолог битника”, “Монолог Мерлин Монро”, “Ночной аэропорт в Нью-Йорке” и где почувствовал себя, как дома. О чём потом вспоминал: “Когда я попал в Америку в 60-е годы, я увидел, что битники ходили так же, как и мы в Москве”. Первыми, кого он разыскал в Гринвич-виллидже — богемном пригороде Нью-Йорка, — были хиппи, или битники, от имени которых он вскоре заговорил в стихах:

“Лежу бухой и эпохальный. Постигаю Мичиган...”

“...плевало время на меня, плюю на время...”

*Мы — битники. Среди хулы
мы — как зверёныши, волчата.
Скандалы, точно кандалы,
за нами с лязгом волочатся...*

Перерождение советского студента-архитектора, мечтающего построить Братскую ГЭС, в мичиганского обкуренного “волчонка” произошло мгновенно, как будто новые друзья окунули молодого социалистического реалиста в мичиганскую купель с нечистотами, и наш поэт завопил в один голос с ними:

*Вы думали — я шут?
Я — суд!
Я страшный суд!
Молись, эпоха!*
(1961)

Именно там, на берегах Мичигана, произошло знакомство Вознесенского с вождём американских хиппи Аленом Гинзбергом, сыгравшим роковую роль в жизни советского поэта. После возвращения из Америки Вознесенский буквально воспел своего нового кумира:

Обожаю Гринвич-виллидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках**?
Это Аллен, Аллен, Аллен!
Над смертельным карнавалом
Аллен выскочил в исподнем!
Бог — иронии сегодня,
как библейский афоризм
гениальное: “Вались!”*

* Гринвич-виллидж — район, пристанище нью-йоркской богемы, сексуальных меньшинств и наркоманов Нью-Йорка.

** Скорее всего, под словами “мошна в ночных очках” поэт подразумевает нижнюю часть мужского организма, называемую “мошонкой”.

Как мне помнится, этого стихотворения нет в книгах Вознесенского. Его процитировал уехавший в советские годы в США въедливый биограф всех наших «шестидесятников», связанный с американской богемой, Владимир Соловьёв в книге «Не только Евтушенко» (М.: Рипол-классик, 2015) в главе с длинным, но важным названием: «В гостях у Аллена Гинзберга, или Андрей Вознесенский и Питер Орловски: первый и последний битники одной эпохи». С торжественной печалью там же В. Соловьёв вещает: «Они умерли один за другим, в 2010 году, 31 мая и 1 июня: Питер Орловски (Peter Orlovsky), затерявшийся в тени своего легендарного («бессмертные и легендарные», как писал Евтушенко о «шестидесятниках». – Ст. К.) любовника Аллена Гинзберга, но почётно упоминаемый рядом с именами Берроуза, Ферлингетти, Керуака, Ашбери, Корсо, и Андрей Вознесенский. Видимо, есть в этом некая символика: один из первых поэтов поколения битников в СССР Андрей Вознесенский умирает на следующий день после смерти одного из последних именных американских битников, «шестидесятника» Питера Орловски. Орловски был охоч как до мужчин, так и до женщин. Гинзберг мужской любви не изменял. Оба имели многочисленные связи на стороне, но трогательно провели жизнь в неверном супружестве и обожании друг друга».

Вот в какой атмосфере начала 60-х произошло окончательное превращение советского поэта, мечтавшего строить Братскую ГЭС, в американского битника, друга Питера Орловского и Аллена Гинзберга. Недаром мать А. Вознесенского отговаривала сына от поездки в Америку: «Тебя там убьют», – говорила ему она. И была права. В Америку в 1961 году уехал русский советский поэт, а обратно на Родину вернулся побратим из свиты Аллена Гинзберга.

Из книги В. Соловьёва «Не только Евтушенко»: **«Евтушенко называл Гинзберга своим другом. Вознесенский воспевал битническую вольтицу всю свою молодость: «Как хорошо побродить по Риму // нищим ограбленным побратимом». Из смурной России казалось, что битники и есть тот самый глоток свободы, которого советский человек был лишён не только в шестидесятые».**

В. Соловьёв в этой же книге так истолковал и раскрыл сущность слова «битник» и образ жизни членов этой своеобразной касты:

«То, что для Гинзберга значение не меньше, чем поэзия, имел гомосексуализм классика (речь идёт об Уолте Уитмене. – Ст. К.), мне знать тогда было не дано. Но никакой не секрет, что битников объединяли не только бит-ритм, размер, удар, стук, но и нетрадиционная ориентация.

Bit как ежедневный винт, то есть стук и трах, сходились по гендерному признаку. По подобию.

Так Керуак ближе познакомился с Гинзбергом, оказавшись в кровати у последнего... Теперь, почти шестьдесят лет спустя, когда всё больше штатов признают однополые браки, и даже русская фраза «тютелька в тютельку» приобрела новое значение, история битничества прочитывается во всей её похотливой подлинности.

Они все переспали друг с другом. И на здоровье. В каждом практически тексте битников густо, открыто, с подробностями об этом написано. Молитвенным шёпотом, переходящим в психоделический вопль, ставший поэмой «Howe» ещё в 1956: «Хочу, чтобы меня любили! Дайте любви, побольше дайте! Дайте, я вам отвечу безумной страстью!» «Власть любви, уже равная по силе Власти в литературе, в испепеляющем желании прославиться и стать классиком второй половины XX века, пройдясь при этом по всем мыслимым и немыслимым мужским попам, вела вперёд, тащила потоком Гинзберга и его ближайшее окружение сквозь годы, стихи, романы, постели, ревность и поцелуи».

Ален Гинзберг, когда к нему в гости приехал Соловьёв с «партнёром» В. Друком, **«поинтересовался, знакомы ли мы с Евтушенко. Заметно оживился, когда оказалось, что мы знакомы не только с Евтушенко, но и с Вознесенским. Я, в свою очередь, поинтересовался, знаком ли битник с Бродским, который тогда жил неподалёку на Morton Street. Гинзберг ушёл от ответа. Памятуя, что не со всеми русскими поэтами у Гинзберга тёплые отношения (Лимонов его, к примеру, на дух не выносил), я решил на ответе не настаивать...»**

«Мы крепко обнялись. Посмотрели друг на друга с искренней симпатией, как достойные представители двух великих литератур». Кстати,

в романе Лимонова “Это я, Эдичка” гомосексуальная жизнь описана со знанием дела.

Далее Владимир Соловьёв приводит строчку из якобы знаменитого поэта Орловского – любовника Аллена Гинзберга: “*A rainbow comes pouring into my window, I am electrified*”, – сравнивает её со строчкой из Андрея Вознесенского “*Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены?*” – и заключает: “*Они писали, естественно, по-разному, но об одном и том же, эти “шестидесятники” <...> Скорее всего, там, в той жизни они уже давно встретились. В который раз*”.

Прочитал я все эти откровения и подумал: а не сужаю ли я понятие “шестидесятники” до детей “оттепели”, до “детей XX съезда КПСС”? А может быть, наше “шестидесятничество” было лишь частью “мирового шестидесятничества”, куда входили со своими противоестественными страстями и американские битники с лесбиянками, и французские студенты, совершавшие в 60-е годы антидеголлерскую и сексуальную революцию одновременно?

Но забавно то, что, если с нашей, стороны послем этой революции и главным “шестидесятником” был не образцовый мужчина Евтушенко, не brutальный Василий Аксёнов и не сентиментальный Булат Окуджава, а “обращённый” после первого же посещения Америки в религию битников неопит Андрей Вознесенский. После преклонения перед образом жизни американской битнической общины он разыскал в Европе не менее фанатичную ауру, поклонявшуюся фигуре сценариста и режиссёра Пьера Паоло Пазолини, и послал ему для налаживания метафизической связи стихотворный пароль, понятный лишь для посвящённых: “*Пазолини вёл на лежбище по Евангелию и Лесбосу!*” Не зря же Пьер Паоло Пазолини, задумав съёмку фильма “Евангелие от Матфея”, хотел сначала на роль Иисуса Христа пригласить Евгения Евтушенко, но потом предложил её какому-то молодому испанцу, непрофессиональному актёру, наделив, однако, образ Спасителя некоторыми своими чувственными пристрастиями! Фильм имел колоссальный успех в Италии, получив две премии Венецианского фестиваля, премию национального совета кинокритиков США и множество других наград, что свидетельствовало лишь об одном: Европа начинает обменивать свои вечные ценности на сексуальные побрякушки, свою средневековую аскезу на изощрённое, самоубийственное суперрастление XX века. Не случайно же не так давно датский парламент запретил совоплощения людей с животными лишь потому, что оно совершается без согласия животных, поскольку последние не могут говорить, а лишь мычат, лают и т. д.

В 1964 году Вознесенский не без протекции со стороны Аллена Гинзберга был приглашён на шабаш международной нечистой силы, прилетевшей в Лондон на элитарный вечер памяти Элиота в лондонском Альберт-холле. Под пером Вознесенского этот поэтический шабаш, на котором, видимо, был Воланд со товарищи, выглядел на зависть нашим “шестидесятникам” как собиение мирового значения: “**Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали. Смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не фурыкали, не волокли, не контакчили, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, революционизировались, скандировали: “Ом, ом, оом, ооммм...”; “Овации расшатывали Альберт-холл”; “...съехались вожди демократической вольницы поэзии. Прилетел Аллен Гинзберг со своей вольницей. С нечёсаной чёрной гривой и бородой по битническому стилю тех лет <...> уличный лексикон был эпатажем буржуа <это была волна против войны во Вьетнаме>. Он боготворил Маяковского <...>**”

Эти сочные глаголы “кололись”, “надирались”, “отдавались” свидетельствовали о единой природе советских, американских, европейских и прочих “шестидесятников”. Неумолимый Аллен Гинзберг, дитя еврея и негритянки, приехал в Лондон без сопровождения Питера Орловски, но не унывал: рядом оказался Вознесенский, с которым они сдружились ещё в 1963-м и продолжали встречаться во всех уголках земного шара. Евтушенко, ревниво следивший за успехами и всякого рода подвигами Вознесенского, в книге “Талант есть чудо не случайное” (М.: Советский писатель, 1980) с одобрением заметил,

что **“в Австралии было совершено нападение на Андрея Вознесенского, которого по-братски защитили американские поэты Ферлингетти и Гинзберг”**.

Оказывается, Андрея Вознесенского эта парочка сопровождала в его рискованных поездках по всему миру и оберегала “по-братски”.

И. Вирабов в книге “Андрей Вознесенский” (М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2015) пишет: **“Ходили в друзьях у Аллена и русские поэты – и Евтушенко, и Соснора. В завещании Гинзберг специально выделил Вознесенского. Адвокат после смерти главного битника передал Андрею Андреевичу очки Аллена с розовыми стёклышками”** (с. 194). **“В воспоминаниях Андрея Андреевича изрядное число страниц отводится Аллену – и неспроста”** (там же. С. 195).

“Вместе с Вознесенским Гинзберг выступал по всему миру. Помимо американских городов, в Мельбурне, Париже, Берлине, Сиднее, Риме, Амстердаме; А. В. называл А. Гинзберга “брат мой певчий” (И. Вирабов. С. 197). **“Когда меня уж очень дома прижали, – пишет А. В., – он пошёл пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: “Дайте выездную визу Вознесенскому”**.

А вот чрезвычайно важное свидетельство об отношениях двух поэтов: **“Однажды Гинзберг рассказал в “Пари ревю” о том, как в первые дни знакомства накормил Вознесенского неким аналогом ЛСД. Тот не подозревал, чем дело обернётся: “молодой был, всё хотел познать. Вдруг откроется нечто?” Открылось, что без помощи врачей не обойтись... Вознесенский, как вспомни про это, так вздрогнет: “Двое суток я находился в состоянии “хай”, но воспроизвести видения оказалось невозможным. Вывел меня из этого состояния лишь поэтический вечер”** (там же. С. 198).

Конечно, все шабаши такого рода не могли не подействовать на впечатлительную душу нашего плейбоя и не могли не отразиться на его творчестве, попавшем под влияние таких “титанов”, как Аллен Гинзберг и Паоло Пазолини. А тут ещё в атмосферу “оттепели” ворвались порывы ветерка из Серебряного века, и Вознесенский разоткровенничался:

*Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня,
на Командоре поженись!
Влеченье через женщину к мужчине —
Дон Жуанизм.*

*Любил ли Белый Любу Менделееву —
он Блока в её образе любил.*

Можно только представить себе радость поэтов “нетрадиционной ориентации” – Михаила Кузмина и героя ахматовской “Поэмы без героя” Всеволода Князева, если бы они дожили до появления в мире поэзии Вознесенского, воспевшего их традиции! Да и Марина Цветаева, конечно, поприветствовала бы понимание Вознесенским глубины современного феминизма:

*Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле,
мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти помурт.*

Побывав в 1961 году в США и став своим человеком в “республике битников”, увидев, какой бешеный культ создаётся вокруг имён Аллена Гинзберга, Питера Орловски, Ферлингетти и других идиолов американской молодёжи, Вознесенский, возвратясь на родину, нащупал связи “шестидесятничества” с плеядой обезбоженного Серебряного века: **“Тайные мои Цветаевы”, “невыплаканные Ахматовы”, “Кузмин Михаил – чародей Петербурга”, “Люб мне Маяковский – командор, гневная Цветаева-медуза, мускусный Кузмин и молодой Заболоцкий – гинеколог музыки”**. При этом Вознесенский, конечно, не мог не знать о том, что Ахматова исповедовала истину – **“поэтам – вообще не пристали грехи”**, что Цветаева была наложницей у поэтессы Софьи Парнок и воспела эту страсть в стихах о “подруге”, что о Михаиле Кузмине

(“**чародеи Петербурга**”, по Вознесенскому) “прощавшая поэтам” грехи Анна Ахматова в “Поэме без героя” вспоминала с ужасом и смущением: “**Перед ним самый смрадный грешник — воплощённая благодать**”. В 1918 году М. Кузмин издал книгу своих стихотворений “Занавешенные картинки” с иллюстрациями некоего Милашевского. И стихи, и картинки этой книги были образцами вульгарной порнографии, которая в послевоенное время появлялась на заборах моей Калуги.

Но этого мало. Восторженно-косноязычные похвалы кумирам Серебряного века у Вознесенского подкреплялись развязными поношениями христианских символов: “**Чайка — плавки Бога**”, “**И Христос небес касался лёгкий, как дуга троллейбуса**”, “**Крест на решётке — на жизни крест**” (о монашеской судьбе), “**Человека создал соблазн**”, “**Я святою водою залил радиатор**”, “**Нам, как аппендицит, поудалили стыд**”, “**Реабилитирую понятие греха**”. . . Я уж не говорю о хулиганских плевках поэта в адрес выдающихся творцов русской культуры: “**Слушая Чайковского мотивы, натягивайте на уши презервативы**” и т. д.

А в поэме “Андрей Палисадов” духовное “дитя Маяковского” дошло до предела в изысканных кощунствах над святынями Православия:

*Это было в марте, в вербном шевелении.
“Милый, окрести меня, совершеннолетнюю!
Я разделась в церкви — на пари последнее.
Окрести язычницу совершеннолетнюю.
Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаёшь ли школьницу, что тебя любила?
Глаза — благовещенские, жёлтые, янтарные.
Первая из женщин я вошла в алтарную”.*

По сравнению с этой изошрённой словесностью бесноватые пляски “Пусси райт” кажутся детским лепетом, или, по крайней мере, мелким хулиганством, за которое наши плясуньи получили, как мне помнится, какие-то сроки лагерной жизни, в то время как Вознесенский получил за своё эффектное посрамление церковной жизни Государственную премию.

“**Душа — совмещённый санузел**” — вот чем восхищался поэт, известный всему западному миру, получавший в десятках академий Европы и Америки дипломы о почётном членстве. А в это же время мало кому известный, полунциий, бездомный Николай Рубцов трогательно и застенчиво разговаривал со своей душой, как с даром, полученным свыше:

*До конца,
До тихого креста
Пусть душа останется чиста.*

*Перед этой жёлтой захолустной
Стороной берёзовой моей,
Перед жнивой пасмурной и грустной
В дни осенних горестных дождей,
Перед этим строгим сельсоветом,
Перед этим стадом у моста,
Перед всем старинным белым светом
Я клянусь: душа моя чиста.*

*Пусть она останется чиста
До конца,
До смертного креста.*

* * *

Евгений Евтушенко в книге “Талант есть чудо неслучайное” подробно рассказал о своём участии в эпохальных поэтических сборниках. Есть в этой книге глава “Диктатура пляжа”, описывающая, как проходил в семидесятых годах

прошлого века всемирный фестиваль поэзии на диком итальянском пляже недалеко от местечка, где был зверски убит Пазолини. Евтушенко, вспоминая последний фильм Пазолини “Соло, или 120 дней Содома”, красочно изображает международную толпу поэтов, накаченных алкоголем, марихуаной, кокаином и **“вступающих в разнополюе и однополюе отношения”**. Правда, не легко понять, то ли он ужасается, то ли радуется тому, что советские поэты, сломав “железный занавес” (одна из глав так и называется – “Осколки железного занавеса”), наконец-то попали в объятия свободных от всех предрассудков интеллектуалов Западного мира:

– Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? – спросил я своего старого сан-францисского друга Лоуренса Ферлингетти.

– Нет! – мы оба ушли со сцены. На десять часов назначили военный совет”.

А что они могли сделать против этой стихии? Чудовище, которое все они сообща вскармливали, вырвалось на волю, и никакой “железный занавес” не мог остановить его.

Даже Аллен Гинзберг, естественно, бывший там, *“предложил не сдаваться хаосу”*. Но его заглушили *“Энн Чолман и Питер Орловски, которые читали стихи не только голосом, но переходили на пение, из магнитофонов лился собачий лай и рёв паровозов”*.

Читая эти страницы евтушенковских воспоминаний, я понял, что он был унижен и оскорблён не картинами этого “фестиваля”, а лишь тем, что вся эта содомитская пьяная толпа орала и не слушала никого – ни Гинзберга и Ферлингетти, ни – и это самое главное – его, поэта с мировым именем, и ему пришлось смириться с этой стихией и кое-как оправдать её: *“Стихи были криком против милитаризма, криком против загрязнения окружающей среды, как технического, так и духовного”*. Но мистическая сущность фестиваля заключалась в том, что вся эта “содомская каша” заваривалась рядом с местом, где, по словам самого Евтушенко, **“убили Пазолини, убитого ещё до этого самим собой”**. Да, Пазолини, в конце концов, пришёл “по лезвию” не на какое-то евангелическое “лежбище”, а в грязный вонючий гараж, где его ждали не Сафо и нимфетки с Лесбоса, и не прекрасные юноши – дети Гермеса и Афродиты, а уличные римские волчата, продавцы дешёвых сексуальных утех, ударившие его ножом, якобы потому, что он недоплатил им за указанные услуги, а потом переехавшие всеми четырьмя колёсами своего авто умирающее тело “шестидесятника”, создателя кинофильмов “Декамерон”, “Кентерберийские рассказы”, “Царь Эдип”, “Евангелие от Матфея” и великого грешника, всю свою жизнь метавшегося между атеизмом, католицизмом, коммунизмом и гомосексуализмом.

* * *

Но помимо давления на чувства Вознесенского тлетворного воздуха, каким дышали Паоло Пазолини, Аллен Гинзберг и иже с ними, немалую роль в жизни поэта играла домашняя “шестидесятническая” атмосфера, которая обволакивала его в Лужниках, в Политехническом, в Переделькино, в сталинской высотке на Котельнической набережной...

“Нас мало, нас, может быть, четверо... И всё-таки нас большинство”, – похвалялся не без оснований Андрей, имея в виду себя, Аксёнова, Ахмадулину и Окуджаву. Но он поскромничал. На самом деле их было – если вспомнить только литераторов, во время “холодной войны” и в 90-е годы уехавших в Америку, во Францию, в Англию, в Германию, в Израиль, – несколько сотен. О том, как они жили в Советском Союзе, как боролись со “сталинизмом”, с “тоталитаризмом”, с “цензурой”, с “кровавой гебнёй”, подробно и откровенно рассказала в нескольких телепередачах, посвящённых 85-летию А. Вознесенского, в мае 2018 года его вдова. Деловито, ничуть не смущаясь, Оза рассказала о вечеринках её молодости в элитных московских квартирах, где после хмельных застолий “золотая молодёжь” удалялась в спальни, располагалась парами, *“ложились звёздочками”*, уточняла Оза. Ну, разве после такого “свального греха” можно было удивить Андрея Вознесенского альбертхолльской оргией, где *“раздевались, надирались, отдавались”*,

или мичиганскими знойными ночами после приёма наркотика ЛСД в компании с Алленом Гинзбергом и Питером Орловски? “Верующих среди нас не было, — вспоминала Оза. — Жутко быстро менялись жёны и любовницы, как в Серебряном веке”.

Особенно восторгалась она Аксёновым: “У Васи были притязания быть первым писателем. У него была столь крупная харизма, что он всегда чем-то руководил. Он был приверженцем рок-эн-ролла. <...> Ему было тесно среди советских людей”, “Он хорошо одевался”, “Его языком разговаривало поколение”, “Он был русским западником и в то же время евреем, он был гражданином мира”, “Пройдёт сто лет, но в русской литературе останутся “Ожог” и “Апельсины из Марокко”... “Проза для гимназистов”, — Как говорил Валентин Распутин об Аксёнове с его “Апельсинами”. —

Во время телепередачи рядом с Озою сидел стихотворец, носящий изысканный псевдоним “Вишневецкий” и восторженно поддакивал Озе, когда речь заходила о Вознесенском: “Его великие стихи стали песнями, стали достоинством республики”. Рядом с ней сидела дочка Роберта Рождественского и, наверное, поэтому Оза вспомнила о самом что ни на есть советском (“по национальности — я советский”) поэте-”шестидесятнике”: “Роберт — это скала. Он был неотразимым мужиком, — и на всякий случай добавила: —И Аллу (свою жену. — **Ст. К.**) боготворил”.

Весьма важными были воспоминания Богуславской об Окуджаве, о его смерти в Париже: “Конечно, он был атеистом. А в Париже я оказалась как представительница Пен-клуба от России, и поставила всех представителей Пен-клуба на ноги, и объявила минуту молчания: умер Булат”. За все свои деяния и книги, ныне забытые, Богуславская стала заслуженным работником культуры, академиком российской Академии художеств, заведующей отделом литературы в Комитете по Ленинским и Государственным премиям, автором проекта премии “Триумф” и фонда “Триумф”, созданных на деньги Березовского, и т. д. Благодаря ей в США вышла книга Вознесенского с предисловием Артура Миллера и в то же время в Советском Союзе вышла книга Артура Миллера с предисловием Вознесенского.

Вспоминая о том, какой международной поддержкой пользовалось советское “шестидесятничество”, Богуславская откровенничает: “Андрея, который встречался с Кеннеди, был в Париже, подверг позору Хрущёв, который выгонял его из Советского Союза. Но у меня уже был ордер на квартиру в высотном доме на Котельнической. Пошли её смотреть, батареи обгрызаны крысами. Но рядом живут Уланова, Паустовский”. Это успокоило нашу шестидесятницу.

Услышав это, я вспомнил стихи Слуцкого из “сталинского цикла”: “Я шёл всё дальше, дальше и предо мной предстали его дворцы, заводы — всё, что построил Сталин, высотных зданий башни, квадраты площадей. Социализм был выстроен, поселим в нём людей”.

Бедный Слуцкий! Он не знал, что “высотные здания”, построенные Сталиным, в 60-е годы уже были заселены антисталинистами — Евтушенко, Вознесенским, Паустовским и прочими “шестидесятниками”. И никаких других “людей” в этих номенклатурных квартирах с батареями, якобы “обгрызанными крысами”, и быть не могло. Ни Василия Шукшина, ни Юрия Кузнецова, ни Вадима Кожинова в эти суперапартаменты ни за что бы не поселили. Вот Евгения Евтушенко — другое дело! Приблизительно в то же время он получил подобную же суперквартиру в высотке, где располагалась гостиница “Украина”. Наши “шестидесятники” быстро научились торговать своей оппозиционностью и дорого продавать её высшей власти. В этом смысле они, действительно, были “легендарными”...

Поскольку Вознесенский во всём пытался подражать Маяковскому, то нравы бриковского салона и культ Лили Брик для него и для Богуславской были обязательным ритуалом. У Озы и Лили на определённых этапах жизни даже фамилии совпадали: Лили Брик в девичестве, а Богуславская после одного из своих замужеств носила одну и ту же комиссарскую фамилию персонажа из поэмы Эдуарда Багрицкого “Дума про Опанаса”. Ну, как тут не вспомнить пророческие слова Георгия Свиридова о власти “мировой антрепризы” над судьбами людей русского искусства, о передаче этой власти после самоубийства Лили Брик в руки Майи Плисецкой. Не потому ли после того, как импульсивный Хрущёв криком кричал на Вознесенского в Кремлёвском дворце

во время встречи с творческой интеллигенцией, в квартиру Вознесенского и Озы, в сталинскую высотку заявили гости – сенатор Эдвард Кеннеди с супругой в сопровождении посла Соединённых Штатов Америки. С каким восторгом об этом рассказывала Оза с телеэкрана, как будто это были самые счастливые дни в жизни её и Андрея! А когда гости ушли и выяснилось, что мадам Кеннеди забыла сумочку с документами и валютой, радости Озы и Андрея не было предела: они могут позвонить американским гостям, услужить им и ещё раз увидеть их, чтобы продолжить общение с такими людьми! С каким восторгом и упоением вещала об этом случае Богуславская, радуясь тому, что в это время кагэбешники, висящие, по словам Озы, “на пожарных лестницах”, в бессильной ярости кусали губы, осознавая свою беспомощность перед кланом Кеннеди. Вспоминая об этом случае, Оза негодовала: **“Как мог Хрущёв кричать на Вознесенского после того, как последнюю принимала семья Кеннеди, президент Франции Миттеран, после того, как великий писатель Артур Миллер написал предисловие к книге Андрея Вознесенского, вышедшей в Америке, и вообще – кто такой Хрущёв по сравнению с Вознесенским, поэтом с мировой славой!”**

Тем не менее, Вознесенский умудрялся одновременно с прославлением Аллена Гинзберга и Паоло Пазолини, с восхищением образом жизни битников и хиппи создавать культ Ленина, понимая, что жить и работать ему всё-таки придётся в другой стране и в другой идеологии.

Поэма “Лонжюмо”, написанная в 1963 году, открыла Андрею двери во все идеологические кабинеты, во все советские издательства и во все зарубежные страны, может быть, ещё и потому, что речь в ней шла не только о Ленине:

*В драндулете, как чёртик в колбе,
изолированный, недобрый
среди великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев
под разученные овацции
проезжал глава эмиграции —
царь!*

По Вознесенскому, Ленин во французском Лонжюмо чувствует себя, как на родине, а царь, находясь в России, – как эмигрант. И это написано с хамским вдохновением не только о российском великомученике, но и обо всей его семье, зверское убийство которой уже давно признаётся одним из самых гнуснейших преступлений ХХ века. Такие стихи мог бы написать Яков Юровский, первым в упор выстреливший в императора, либо Исай Голощёкин, принимавший как член Екатеринбургского облсовета решение об убийстве царской семьи, либо Пинхус Лазаревич Войков, растворивший при помощи серной кислоты останки несчастных жертв, либо Яков Свердлов – режиссёр всей этой трагедии.

Однако эти стихи написаны не цареубийцей, а поэтом, считавшим себя и русским, и знаменитым, и либеральным. В своём хулиганском исступлении он вдоволь поглумился и над Николаем Романовым, и над его верной супругой, и над больным сыном, и над девочками-царевнами... Все они для него – “великодержавные хари”. Заодно поэт плюнул в лицо всем “охотнорядцам”, расстрелянным в годы революции и гражданской войны “без суда и следствия”, как того требовал декрет “О борьбе с антисемитизмом”, сочинённый Яковом Свердловым и подписанный Лениным, а также в лицо всем великомученикам и подвижникам русской церкви, поставленным к “стенке” “комиссарами в пыльных шлемах”. Он нашёл для этих жертв одно уничижительное слово – “рясы”.

Перечитываю эти несколько стихотворных строк и ужасаюсь, как будто вернулись к нам 30-е годы, когда среди расстрельной команды, вдохновляемой Юровским, вспыхивали жаркие споры – кто первый всадил пулю в отца Семейства, кто – в Александру Фёдоровну, кто – в наследника... Но ведь “Лонжюмо” была написана после ХХ “шестидесятнического” съезда КПСС и после ХХII, демонстративно “антисталинского”. Вроде бы нравы должны были смягчиться! Ан нет... Какое кроваво-грязное клеймо поставила на всём “шестидесятничестве” эта, с позволения сказать, поэма... Особенно злободневны такого рода мысли в наши дни, когда ежегодно 17 июля многочисленные

людские толпы проходят пешком со свечами в руках крестный путь от “Церкви-на-Крови”, возведённой на месте Ипатьевского дома, до “Ганиной Ямы”.

Однако “ничто на земле не проходит бесследно”. Поскольку ленинские “заклинания” и “камлания” были священными для Вознесенского (кроме “Лонжюмо”, он изваял “Секвойю Ленина” и “Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамён. . .”), этот почти религиозный культ стал для него столь родным, что в последние годы жизни поэт, которого Оза вывозила на TV-шоу в кресле-каталке, стал походить на своего кумира (особенно выражением лица), сидящего после инсульта на известной фотографии, сделанной в Горках в 1923 году рядом с Крупской, с полуоткрытым ртом и бессмысленным взглядом.

Согласно русским православно-народным обычаям, недостойно глумиться над усопшими. Какими бы они ни были при жизни. “Мне отмщение, и аз воздам” – вот по какому нравственному закону жили наши предки. Вознесенский же поглумился не только над несчастным семейством Романовых. Он успел поглумиться и над Сталиным после того, как в марте 1953-го побывал в Колонном зале Дома Союзов, где народ прощался с вождём. Но наш поэт пришёл туда не на прощанье, а для того, чтобы оставить в своих воспоминаниях слова о том, что покойный вождь, “топорща усы, лежал на спинке, подобный жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков “притворяшка-вор”, который притворяется умершим, а потом как прыгнет”.

Впрочем, А. В. был не оригинален – карикатурные изображения Сталина, творящего из Мавзолея свои злые дела, оставили и другие “шестидесятники” – Е. Евтушенко, П. Вегин, А. Галич.

А ко всему сказанному надо добавить ещё то, что отец Вознесенского, один из крупнейших руководителей по строительству сталинских гидростанций, был кавалером двух орденов Ленина, двух – Красного Знамени, ордена “Знак Почёта” и т. д. Так что А. В. стал подлинным “шестидесятником” ещё и в том смысле, что, как все они, испытывал “к предательству таинственную страсть”, предавая дело отца, работавшего на Сталинскую эпоху.

* * *

Память моя сохранила многие разговоры композитора Георгия Васильевича Свиридова о жизни людей искусства в 30-е годы, о “шестидесятниках” “оттепели”, обо всём том, что впоследствии вошло в его удивительную книгу “Музыка как судьба”. . . И о “шестидесятниках” он рассуждал с холодным сарказмом и точностью историка.

“Прочитал стихи поэта Вознесенского, целую книгу. Двигательный мотив поэзии один – непомерное, гипертрофированное честолюбие. Непонятно, откуда в людях берётся такое чувство собственного превосходства над всеми окружающими. Его собеседники – только великие (из прошлого) или, по крайней мере, знаменитые (прославившиеся) из современников, неважно – кто, важно, что “известные”.

Слюнявая, грязная поэзия, грязная не от страстей (что ещё можно объяснить, извинить, понять), а умозрительно, сознательно грязная. Мысли – бедные, жалкие, тривиальные, при всём обязательном желании быть оригинальным. . .

Претензии говорить от “высшего” общества. Малокультурность, нахватанность, поверхностность. “Пустые” слова: Россия, Мессия, Микеланджело, искусство, циклотрон (джентльменский набор), “хиппи”, имена “популярных” людей, которые будут забыты через 20–30 лет.

Пустозвон, пономарь, болтливый, глупый парень, бездушный, рассудочный, развращённый. . .

Жалкие мысли, холодный, развращённый умишко, обязательное разложение, обязательное религиозное кощунство. Но хозяина своего хорошо знает и работает на него исправно. Им говорят: “Смело идите вперёд, не бойтесь ударов в спину. Мы вас защищаем!” И защищают их хорошо, хвалят, превозносят, не дают в обиду” (Г. Свиридов. “Музыка как судьба”).

Увы! Свиридов, к сожалению, был прав. Читая воспоминания Вознесенского, то и дело поражаешься тому, как он гордился знакомствами с известными

кумирами своего времени: Роберт Кеннеди, Артур Миллер, Генри Мур, Мэрилин Монро, Аллен Гинзберг, Марк Шагал, Миттеран, Луи Арагон, Рональд Рейган, Эдвард Кеннеди... Всех "прорабов духа" не перечислить, и подобострастия его перед ними – не измерить! "Думал ли я, – пишет Вознесенский, – что через несколько лет буду читать свои стихи Пикассо? Под лампой на тумбочке – альбом его грациозно-эротической графики". А с каким упоением рассказывает поэт о том, как некая молодая журналистка двадцати семи лет вышла замуж за своего чуть ли не восьмидесятилетнего кумира Пабло и, какое-то время поспав в его кровати, выстрелила себе в рот из пистолета настолько удачно, что раздробила свою молодую голову. С какой гордостью он вспоминает, что ему тоже посчастливилось спать "в кровати Пикассо"! Как хотелось всем нашим плейбоям-"шестидесятникам" сыскать признания своих собратьев по "шестидесятничеству" из Западного мира! С каким придыханием тот же Евтушенко рассказывает в поэме "Фуку" о том, что его удостоил своим вниманием художник Сальвадор Дали! С каким подобострастием рассказывает он же в книге "Волчий паспорт" о том, что его принимал президент Никсон, что Роберт Кеннеди пригласил его в свой дом, чтобы выпить шампанского и сообщить, что под псевдонимами "Абрам Терц" и "Николай Аржак" скрываются Даниэль и Синявский, издававшие антисоветские книги на Западе. Конечно же, от Евтушенко об их авторстве узнало ведомство Семичастного, начался судебный процесс над ними, в ответ западная пресса подняла страшный хай, который заглушил мировой протест против преступлений американской военщины во Вьетнаме... Что и нужно было американцам.

Из книги Г. Свиридова "Музыка как судьба":

"Нельзя не обратить внимания на появившуюся в последнее время тенденцию умалить, унизить человеческую культуру, ополнить, огадить великие произведения человеческого духа. Многочисленным переделкам и приспособлениям подвергаются многие выдающиеся произведения.

Миф о Христе, одно из величайших проявлений человеческого духа, человеческого гения, подвергается систематическому ополнению, осмеянию, не впервые".

Эти мысли Свиридов записал в свой дневник после того, как прочитал строчки из Вознесенского: "Христос, а ты доволен ли судьбою? – Христос: Вполне! Только с гвоздями перебой".

Казалось бы, непревзойдённые образцы кощунства оставил после себя Аллен Гинзберг, изобразивший в стихах своё лицо как детородный орган матери, породившей его на свет Божий, как "бородатую вагину". Но ведь он покощунствовал и поглумился всего лишь над матерью... Андрей Вознесенский переплюнул своего американского "собрата"-соперника – он глумливо замахнулся на самого Спасителя и на великую голгофскую трагедию.

* * *

В отличие от Е. Е., который, как обученный на распознавание наркотиков фокстерьер, вынюхивал всю жизнь, где таится и где высовывает голову русский антисемитизм, А. А. взял на себя другую часть русофобии – насаждение циничной и развязной обезбоженности, глумливое осмеяние православного мира, издевательство над монашеским призванием молодых русских людей. Евтушенко хоть успел обвенчаться с последней четвёртой женой и над церковью и верой не глумился. Просто не замечал этой великой основы русской истории и русской жизни. А Вознесенский?.. Что, в Америке не было у кого поучиться уму-разуму? Но ведь в те годы, когда его воспитание завершал Аллен Гинзберг, на востоке страны жил легендарный человек Серафим Роуз. Ровесник Вознесенского. В юности битник, он прошёл все соблазны хипповской жизни, но потом, заморожённый мудростью буддизма, был его верным адептом до той поры, пока его не поразило своей глубиной, душевностью и красотой наше русское Православие. Но Вознесенский вместо того, чтобы прийти в келью к Серафиму Роузу, постучался в Содомские ворота к Аллену Гинзбергу.

Однако не все "шестидесятники" (я рассматриваю "шестидесятничество" как явление не хронологическое, а мировоззренческое) были благодетельствованы заботами "мировой антрепризы". Многие из них, как это и бывает

в “обезбоженные” времена, стали жертвами не просто болезней, но эпидемии самоубийств. Многих детей “оттепели” и перестройки поразила эта смертоносная инфекция Серебряного века. Вспомним судьбу Геннадия Шпаликова, Ильи Габая, Вадима Делоне, Юрия Карабчиевского, Анатолия Якобсона, Леона Тоома, Нины Бенуа, Бориса Примерова, Вячеслава Кондратьева, Юлии Друниной, Бориса Рыжего, Ники Турбиной, Александра Башлачёва и многих, многих других. Да и Высоцкий, по существу, почти довёл себя до самоубийства.

А что касается “мировой антрепризы”, то Георгий Свиридов был прозорлив. Вот какие письма, оберегающие Вознесенского, слал будущий “архитектор перестройки” А. Н. Яковлев из Канады руководству Союза писателей СССР:

“ПОСОЛЬСТВО СССР В КАНАДЕ

01 ноября 1982 г.

Г. Оттава Исх. X 900

СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Тов. ФЕДОРЕНКО Н. Т.

Уважаемый Николай Трофимович.

Выступление поэта Андрея Вознесенского на международном фестивале Харборфронт в Торонто было успешным и полезным. Положительные для нас репортажи о выступлении передавались по телевидению, радио и в прессе. В фестивале не участвовали эмигрантские писатели, которые в предыдущие годы выступали в чтениях с антисоветских позиций. По существу, направление А. Вознесенского в этом году на фестиваль закрыло его для антисоветских эмигрантских писателей.

А. Вознесенский выступил также с чтением своих произведений в Макгильском университете (Монреаль) и на встрече с группой поэтов в г. Оттаве.

В беседах с советскими представителями организатор фестиваля Грег Гэтенби выказал заинтересованность в приезде советского поэта на очередной фестиваль 1983 года.

Учитывая успех нашего участия в фестивале 1982 г., считал бы целесообразным предусмотреть в планах Союза Советских Писателей СССР направление советского поэта на фестиваль 1983 г. Кроме того, представляется полезным передать Г. Гэтенби приглашение посетить Советский Союз желательно для участия в одном из литературных мероприятий, проводимых СССР. Конкретные соображения на этот счёт имеются у поэта А. Вознесенского.

Посол СССР в Канаде А. Яковлев”.

“Архитектор перестройки” знал, кого приглашать в Канаду, поэтому такого рода документы чрезвычайно интересны... Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, кто во времена “цензуры”, “тоталитаризма” и “диктата КПСС” постоянно ездил за границу и почему. Конечно, никакой Николай Рубцов или Анатолий Передреев и мечтать не могли о том, чтобы посмотреть мир. Настоящими “невъездными” (в том смысле, что их никогда не включали ни в какие зарубежные делегации) были Дмитрий Балашов, Владимир Личутин, Николай Тряпкин, Виктор Лихоносов, Фёдор Сухов, Юрий Селезнёв, Татьяна Глушкова, Александр Вампилов, Глеб Горбовский, Виктор Коротаяев, Сергей Семанов, да и многие другие талантливые русские поэты, прозаики, критики. Но валюты на них не хватало. Её тратил Роберт Рождественский, всегда выезжавший при содействии “мировой антрепризы” в “загранку” с женой Аллой Киреевой.

* * *

Объехав полмира и разузнав, что на Западе ореол “секс-символа” значительно повышает статус поэта, артиста, киногероя, что это звание с гордостью носят Юл Бриннер и Мэрилин Монро, Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, Андрей Вознесенский решил позаставать это звание у американцев и внедрить его в жизнь советских “шестидесятников”, хотя у нас никакими секс-символами до

пресловутых 90-х не считались ни Любовь Орлова, ни Зоя Фёдорова, ни Клавдия Шульженко, ни Олег Стриженов, ни Евгений Урбанский, ни Вячеслав Тихонов... Более того, я помню, как в 60-е годы, когда в нашем кругу один из известных литераторов, взхлёб любивший рассказывать о своих сексуальных победах, получил у нас прозвище не “секс-символ”, а “попс”, что означало “половой психопат”. Понятно, что ничего в этом ярлыке “возвышающего” не было...

Правда, с нашим поэтом-плейбоем всё случилось иначе. На сексуальные подвиги он был подвигнут героиней своих книг, которая носила таинственное имя “Оза”. “Сказала: будь смел! — не вылезай из спален”, — простодушно признавался поэт, выполнявший желание Озы, чтобы он стал секс-символом. Может быть, это было связано с репутацией семьи на Западе, или, как бы сказали сегодня, с “семейным бизнесом”? Как бы то ни было, но однажды случилось так, что его лирический герой оказался вместо очередной спальни в женском туалете, где встретил вдрабадан пьяную прекрасную незнакомку и попытался объяснить ей в своих чувствах. Драматизм этой сцены потрясающий: “И стало ей плохо на все его брюки”, “. . . О, освободись! Я стою на коленях, целую плечо твоё в мокром батисте, отдай мне своё естество откровенно! Освободись же! Освободись же!” Справедливо, что эту сексуально-уникальную трагедию с призывом “освобождения” от всех лицемерных условностей критик-“шестидесятник” Ю. Болдырев в одной из статей прокомментировал так: “Интерес к людям с безымянным мужеством совести и безнаградно совершающим подвиг помощи и взаимовыручки”.

Как бы то ни было, но вполне возможно, что все “подвиги Геракла”, которые совершил наш секс-символ — в “спальне”, в “туалете” и даже в “алтаре” — были следствием усердного усвоения нравов во время его “хиппования” на берегах Мичигана.

* * *

После разрушительной и очистительной революционной бури семнадцатого года казалось, что все питерские “Бродячие собаки” и “Башни”, все “Привалы комедиантов” и московские “Кафе поэтов” превратятся в руины. Но, пережив ужасы гражданской войны и голодные годы военного коммунизма, они вдруг зашевелились — богемно-салонный быт начал возрождаться, и одним из самых модных стал салон Бриков, ставший знаменитым благодаря тому, что именно в нём мучился творческими и любовными муками Владимир Маяковский... Кумир Вознесенского, сын Серебряного века, провозгласивший ещё в 1912 году в “Пощёчине общественному вкусу” новое футуристическое “кredo жизни”: “**Долой ваш строй, долой вашу мораль, долой ваше искусство, долой вашу религию!**”, “Архангел-тяжелоступ”, как называла его Марина Цветаева, отвергал все традиционные устои жизни. Но жизнь платила Маяковскому той же монетой: не хочешь естественной человеческой любви — живи в “тройственном союзе” с Осей и Лилей; не хочешь жить среди русского простонародья, как жил в те годы Есенин, — живи в окружении чекистских комиссаров, постоянно пирующих в бриковском особняке; будешь проклинать родную православную веру (“мешают писателю чортовы купола”, “проклятый Страстной”) — прославляй “небоскрёбы” и “Бруклинский мост”.

А в стихотворении “Император” выдающийся поэт революции Владимир Маяковский писал о Николае Втором так, словно бы благословлял на хулиганское кощунство будущего автора “Лонжюмо” и своего эпигона:

*И вижу — катится ландо,
и в этой вот “ланде”
сидит военный молодой
в холёной бороде.
Перед ним, как чурки,
четыре дочурки...*

Маяковского ещё можно как-то понять — постоянными гостями у Бриков были видные чекисты той эпохи: Агранов, Волович, Горожанин, которые, как мухи на мёд, слетались на вечерние застолья, где царила их общая “Клеопатра” —

хозяйка салона, где её несчастный поэт-воздыхатель писал поэмы, посвящённые ей и рифмованные славословия чекистам, её окружавшим. Он, издававшийся над безвинно убиенными Романовыми, “третий лишний” в семье Бриков, в конце концов, наложил на себя руки. Может быть, это был перст судьбы, расплата за кощунственное издевательство над униженными, оскорблёнными и побеждёнными. . .

О стиле жизни хозяйки этого салона юрист Аркадий Ваксберг писал с подлинным знанием в ЖЗЛовской книге “Лиля Брик”:

“Поклонники сменяли друг друга, она не успевала их всех толком запомнить, и годы спустя, восстанавливая в дневниковых записях этапы своих амурных побед, путала очерёдность, с которой эти поклонники возникали и исчезали, путала даты и даже имена”; “неуёмная потребность в коллекционировании незаурядных людей своего времени, боязнь кого-нибудь упустить. Гарантию же прочности уз в её представлении могла дать только постель”.

Слова А. Ахматовой из “Записок об Анне Ахматовой” Л. К. Чуковской:

“Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин: он её любил и думал, что она его любила <...> Лиля всегда любила “самого главного”; Пунина — пока он был самым главным”.

Действительно, Л. Ю. Б. “коллекционировала” самых успешных, самых честолюбивых, самых близких к власти или обладавших ею: Маяковского — главного поэта эпохи; бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, председателя промбанка А. Краснощёкова (настоящее имя Фроим-Юдка Мовшев Краснощёк); второго человека в ОГПУ Якова Агранова (Сорензона); героя гражданской войны Виталия Марковича Примакова. . . В промежутках на короткое время рядом с ней возникали режиссёр Всеволод Пудовкин, писатель Юрий Тынянов, солист Большого театра Асаф Мессерер. . . Все эти имена взяты из книги А. Ваксберга.

В сущности, “шестидесятники” в какой-то степени были поражены тем же вирусом “коллекционирования знаменитостей”, и это своеобразное душевное заболевание можно назвать “комплексом Л. Ю. Б.”. Об этом убедительно пишет автор книги “Андрей Вознесенский” И. Виравов (ЖЗЛ):

“Они носились по миру, будто наперегонки, получали мандаты одних академий и университетов, знакомились, дружили с одними и теми же знаменитостями, будто соревнуясь”. Да и отношения А. В. с Л. Ю. Б., по мнению того же Вирабова, были неслучайными: “Вознесенского она приблизила к себе во времена, когда ему особенно нужна была поддержка: позвонила после выхода футуристической “Треугольной груши”, после хрущёвского окрика в Кремле”. Бриковский комплекс “коллекционирования знаменитостей” у Вознесенского развивался, как и у всех остальных “шестидесятников”, поскольку они все чувствовали себя принятыми в “мировую антрепризу”:

Родион Щедрин: *“С Андреем мы встретились в квартире Лили Юрьевны Брик. Вообще в моей судьбе её салон сыграл большую роль”.*

Майя Плисецкая: *“У Бриков всегда было захватывающе интересно <...> К концу пятидесятых, думаю, это был единственный салон в Москве”.*

А. Вознесенский: *“Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русский композитор в то время замыслил “Поэторию” по моим стихам”.*

З. Богуславская: *“Атмосфера в “салоне Брик” окутывала и очаровывала: у неё был уникальный талант вкуса, она была камертоном нескольких поколений поэтов. Ты шёл в её салон не галстук показать, а читать своё, новое, волнующее — примет или не примет?”*

Болгарский поэт Л. Левчев: *“Она подарила мне несколько фотографий с её автографом. На одной из них, где она сидит вместе с чекистом Бриком и футуристом Маяковским, Лиля Юрьевна начертала: “На память о нашей дружной семье”. . .” Эта “дружная семья” для А. В. и Озы была одновременно и “мировой антрепризой”, о чём они взахлёб сообщали urbi et orbi:*

“Кумиром моей юности был Пикассо “Уже второй день Гюнтер Грасс пишет с меня портрет”. “Сэр И. Берлин — один из самых образованных и блестящих умов Европы”; “Жаклин, уже не Кеннеди, а Онассис, была для меня одной из самых дорогих и необходимых мне фигур западной культуры. Она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-Йорке”; “Пьер Карден, вдохновлённый Вознесенским, позвонит напрямую Юрию Андропову”; “Вознесенского на полчаса примет Папа Римский в Ватикане”; “С Рональдом Рейганом, бывшим артистом, доигравшимся до роли президента США, Вознесенский

беседовал в Белом доме”; “Когда наша власть не выпускала меня из страны, Роберт Кеннеди послал приглашительную телеграмму. Мне сразу дали выездную визу”. И так далее. И тому подобное. Как он начал “американизироваться” в начале 60-х, познакомившись с Алленом Гинзбергом и его битниками, так и продолжал до конца жизни жить Америкой, тосковать по Америке, хвастаться своими связями с именитыми людьми этого монстра. Маяковский – тот хоть писал: “Я в восторге от Нью-Йорка города, // но кепчонку не сдеру с виска, // у советских собственная гордость – // на буржуев смотрим свысока”...

Вспоминая нравы бриковского салона, теоретик литературы и литературовед Лидия Гинзбург приводит слова Маяковского о том, в каких обстоятельствах ему приходилось жить в Гендриковом переулке: “По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом – прямо церковь. Туда хоть днём не ходят; а к нам целый день и всё бесплатно”.

Во “Флейте-позвоночник” (1915) юный Маяковский, ещё до конца не сдавшийся этой семейке, ужаснулся, увидев впервые всю её гибельную сущность:

*Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленой
и серой издымится мясо дьявола.*

Когда же он покорился этой бесовщине, то чем-то стал похож на юношу-поэта Всеволода Князева из “Поэмы без героя”, застрелившегося из ревности на пороге дома своей неверной возлюбленной:

*Мальчик шёл, в закат глаза уставя,
был закат непоправимо жёлт.
Даже снег желтел в Тверской заставе,
ничего не видя, мальчик шёл...
“...Прощайте, кончаю... Прошу не винить”...
До чего ж на меня похож.*

А через несколько лет Маяковский выплечется в поэме “Про это”:

*А вороны гости?
Дверье крыло
раз по сто бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
.....
И сыплют стеклянные искры из щёк они...
...стен раскалённые степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе...*

Он всё-таки потерпит ещё несколько лет и всё-таки поставит “точку пули в своём конце” – точку, которая была запрограммирована в сознании юноши ещё в 1913 году. А через сорок с лишним лет после выстрела в маленькой комнатухе на Лубянке произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Героиня многих его стихотворений и поэм Л. Ю. Б. выберет тот же безблагодатный и безбожный уход из жизни, который был срежиссирован и отрепетирован в почти забытом Серебряном веке и обрамлён содомитскими карнавальными действиями нэповских двадцатых годов. Из воспоминаний Л. Ю. Брик: “Это было году в 17-м. Звали её Тоней – крепкая, тяжеловесная, некрасивая, особенная и простая <...> Тоня была художницей, кажется мне – талантливой, и на всех её небольших картинах был изображён Маяковский, его знакомые и она сама.

Запомнилась “Тайная вечеря”, где место Христа занимал Маяковский: на другой – Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним – убогая комната. Кровать, на кровати сидит сама художница в рубашке; смутно помню, что Тоня так же и писала, не знаю, прозу или стихи <...>

Тоня выбросилась из окна, не знаю, в каком году. Володя ни разу за всю жизнь не упомянул при мне её имени”.

Всяческие кощунства бриковского салона, конечно, были грубее и вульгарней антихристианского брожения, царившего в умах и душах питерской тусовки 1910-х годов, но в основных оценках бытия они были близки друг другу. И те, и другие не верили в бессмертие души; и те, и другие сознательно изгоняли из своей жизни понятие греха, а вместе с ним чувства стыда и совести. Разница была лишь в концентрации кощунства или богохульства. Если Цветаева говорила о душе — **“христианская немочь бледная”**, то молодой Маяковский, по воспоминаниям его киевской поклонницы Н. Рябовой, **“снял чётки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять”**... Ну, сцена прямо-таки из поэмы Багрицкого “Смерть пионерки”, в которой умирающая девочка Валя с болезненной жестокостью отстраняет материнскую руку, которая пытается надеть ей на шею золочёный крестильный крестик.

Богоборческий пафос Маяковского всегда восхитал Цветаеву. Недаром она изображала его в стихах как великана-разрушителя (большевика с красным флагом) с картины революционного художника Бориса Кустодиева:

*Превыше крестов и труб,
Крещённый в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках — Владимир!*

“Превыше крестов” — сказано не случайно...

В 1930 году после самоубийства Маяковского Марина Цветаева создала реквием из семи стихотворений, который не печатался ни в эмигрантской прессе (по православным соображениям), ни в советских изданиях (по соображениям атеистическим).

В этом цикле она попыталась сказать о его самоубийстве всё: **“советско-российский Вертер”**, **“дворянско-российский жест”**, **“Враг ты мой родной”**, но из всех семи стихотворений меня поразило последнее, состоящее всего лишь из четырёх строчек:

*Много храмов разрушил,
А этот — ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.*

Осмелившись написать такое, Цветаева предсказала и свою судьбу.

Одно время Вознесенского, измерявшего жизнь по Маяковскому, не раз посещал, по его собственному признанию, соблазн самоубийства. Слава Богу, этого не произошло, но в своих стихах А. В. после возвращения из Америки много раз впадал в какое-то садомазохистское словоблудие, изображая родственные отношения между людьми извращёнными до предела.

*Продаёт папаша дочку,
дочка продаёт папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.*

Подобного рода стихи Вознесенского напоминают мне сюжеты нынешних телешоу, которые узаконены на сегодняшнем экране Малаховым, Борисовым, Шепелевым, Гордоном и прочими, по словам Анатолия Передреева, “браконьерами душ”.

* * *

В конце жизни А. Вознесенского, видимо, стали преследовать видения из 60-х годов, из тех дней и ночей, когда он под воздействием сильнейшего химпрепарата ЛСД проводил время в семье Аллена Гинзберга и Питера Орловски. Призраки этих противоестественных призрачных видений прошлого

вдруг ожили и заполнили его сны в повести “Мостик”, про которую автор ЖЗЛовской книги о поэте Игорь Вирабов пишет так: “Главное, чего не стоит делать с “Мостиком”, — стараться вычислить, читая повесть, кто есть кто, и попытаться сочинить за Вознесенского пикантные страницы его биографии”. А зачем разгадывать Вознесенского, если он сам откровенно рассказывает обо всём? “Как у каждого, наверное, в твоей жизни были амур труа (любовь втроём. — Ст. К.). <...> И командор, а не Анна был предметом любви Дон Жуана. Мой приятель, заведший роман с женой друга, не понимая сам, любил его, ощущая через неё как бы близость с ним самим”.

Главный герой “пикантной” повести “Мостик” носит фамилию Бизнесенский. Случайно? Увы! За много лет до появления этой повести я в стихотворении, написанном аж в 1987 году, употребил почти такой же псевдоним, в котором выразил своё отношение к нашему “битнику”:

*Не лучшие в мире у нас пироги,
не лучшие туфли, не лучшие жнейки,
но лучшие в мире у нас телогрейки,
а также резиновые сапоги.*

*Мы честно несли ордена и заплаты,
мы нищими были, мы стали богаты,
поэт Бизнесменский, к примеру, у нас
богаче Есенина в тысячу раз.*

*Ах, Фёдор Михалыч, ты слышишь, как бесы
уже оседлали свои “мерседесы”,
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
рвануться за славою и за валютой...*

*Мы пропили горы, проели леса,
но чудом каким-то спасли небеса,
мы тысячи речек смогли отравить,
но душу никак не умеем пропить.*

*Уходит в историю наша эпоха.
Мы прожили век хорошо или плохо —
не знаю. Оплачены наши счета,
а больше я вам не скажу ни черта!*

Но отношения героев повести “Мостик”, написанной, когда её автор, видимо, вспоминал патологические соблазны, посещавшие его, выглядят так:

“Я люблю тебя. Но я хочу тебя видеть вместе с Андреем”; “Ты перевернулась и стала гимнастическим мостиком между нами. Мы прорывались сквозь тебя, как озверевшие проходчики, с двух сторон прорывающие тоннель. Два убийцы, мы кромсали тебя”; “Боже мой, мальчики, ой, мальчики, что вы творите! Свершилось! Это свершилось”; “Твой нахмуренный лобик светлел от счастья и ужаса. Прощай, дружба! Прощай, ненависть”.

Вспоминая любовный треугольник Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой, Вознесенский признаётся в “Мостике”: “Мой приятель, заведший роман с женой друга, не понимая сам, любил его, ощущая через неё как бы близость с ним”; “Не возжелай жены ближнего твоего”, — а если жена ближнего и он сам возжелают тебя?” Когда в начале двухтысячных журналист из “Комсомольской правды” спросил Вознесенского, что такое “Мостик”, поэт ответил ему: “**Это такой секс-символ**”...

Обильный материал для психологов и сексологов могут дать эти фрейдистские сновидения автора. Возможно, что их истоки тянутся из погружения в мир хиппи и битников, которое случилось с Вознесенским на берегах Мичигана в далёкие шестидесятые. Можно ли верить этим сновидениям?

Но если вспомнить его мольбу в туалете, или сцену грехопадения в алтаре из поэмы “Андрей Палисадов”, или набор брутальных глаголов в лондонском Альберт-холле — “кололись, отдавались, надирались” — и всё, что изложено в “Мостике”, тогда надо поверить признанию З. Богуславской о том, как

Вознесенский добивался её: “Он бегал тогда за мной, как зарезанный. У меня хранятся сотни его сексуальных телеграмм, которые я никому не показываю” (Игорь Вирабов. “Андрей Вознесенский”, М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2015. С. 250).

Ведьмы Серебряного века не меньше, чем Аллен Гинзберг, влияли на нежную душу поэта, недаром в статье о них А. В. он приводит воспоминание итальянской журналистки, как её встретила Надежда Яковлевна Мандельштам: “Мне понравились”, — урчит и принимается снимать с моих пальцев бриллиантовые кольца. Я робею, не знаю, как себя вести, но кольца не отдаю. Тогда Н. Я. обращается к сидящему бледному молодому поэту и кричит: “Она красивая? Так давай вы... её здесь же, быстро, ну, е... е...!” Очень восхитила своим натурализмом эта сцена нашего поэта, который в журнале “Огонёк” (№ 10, 1992) опубликовал эссе “Музы и ведьмы века”, где восхитился откровенностью Лили Брик: “Я любила заниматься любовью с Осей (тут Л. Ю. Б., как то бывает с дамами, смакуя, употребил запрдельный глагол). Мы тогда запирали Володю на кухню. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь, плакал”... Я давно заметил, что наша “шестидесятническая” интеллигенция, русофобствуя и глядя сверху вниз на простонародье, тем не менее с особым смаком (но чаще всего не к месту) пользуется крепкими русскими словечками. А. Вознесенский даже похвалялся тем, что однажды в Политехническом, читая стихи, в строчке “купец галантный — куль голландский” вместо слова “куль” выкрикнул другое слово из трёх букв, что якобы привело в восторг аудиторию: “рёв, стон восхищённого зала не давали мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место”.

Так что нечего удивляться тому, что сквернословие, вылетевшее из уст дочерей Серебряного века Надежды Мандельштам и Лили Брик-Коган, восхитило Андрея Андреевича.

Вознесенский оригинален ещё и тем, что одновременно с прославлением Ленина всю жизнь отбивал поклоны “сивиллам”, “командорам”, “ведьмам” и прочим кумирам Серебряного века. И, конечно же, его обезбоженность проистекает из этого века. Ведь бунтовщица против христианства Марина Цветаева не испытывала никакого смирения перед заповедями Нового Завета, когда отчеканила своё “кредо” в “Поэме конца”:

*Гетто избранничеств — вал и ров.
Пощады не жди,
В сем христианнейшем из миров
Поэты — жида.*

Это было восстанием “избранных” против божественных табу, которыми Господь оградил человеческую природу от всякого рода соблазнов, первый из которых закончился изгнанием Адама и Евы из рая. Зная это, правнук священника Палисадова не испугался признаться, что “человека создал соблазн”.

Друг А. В., Аллен Гинзберг, был дитятею двух мировых гетто — еврейско-го и негритянского, поскольку его отец был американским евреем, а мать — негритянкой, страдавшей психическими расстройствами. Андрей Вознесенский, восхищённый мировой известностью Гинзберга, быстро вошёл в роль пророка и восславил в своих стихах чернокожее мировое гетто:

*Мы — негры, мы — поэты,
в нас плещутся планеты...
.....
Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод,
у вас под сапогами
вселенная орёт.*

Но сегодня “под сапогами” чёрных революционеров орут дети “белой расы”, а Марина Ивановна, зная о вечном противостоянии двух гетто — еврейского и негритянского — романо-германскому и англо-саксонскому натиску, не ограничилась односторонней формулой “в сем христианнейшем из миров поэты — жида”. Нет, она проложила дорогу Вознесенскому, когда в своей

статье “Мой Пушкин” разоткровенничалась: “Пушкин был негр”, “в каждом негре я люблю Пушкина”, “под памятником Пушкину россияне не будут предпочитать белой расы, памятник Пушкину – памятник против расизма”... Не будем придирааться к этому экзальтированному стилю хотя бы потому, что в те годы карта Европы приобретала расистский коричневый цвет.

И всё-таки некоторые фантазии А. В. в третьем тысячелетии в какой-то степени материализовались. Однополая любовь становится узаконенной во многих демократических странах, “чёрный расизм” гуляет по Северной Америке, понятие “секс-символ” внедряется в нашу речь: “Сказала: “Будь смел”, – не вылез из спален” – эта “мужественная клятва”, данная Озе, сегодня могла бы привести к банальному исходу, наподобие судебного процесса над голливудским продюсером Вайнштейном, получившим срок за то, что он лет сорок тому назад переспал чуть ли не со всеми женскими символами Голливуда. Что делать! Уродливый феминизм становится реальной силой в общественной жизни многих государств мира, и, может быть, популярность А. В. в нашей поэзии обусловлено тем, что история человечества всё ярственней и всё быстрее скатывается из эпохи общества потребления в содомитскую эпоху, и тогда бессмысленно судить его с точки зрения традиционной нравственности. Кому она нужна, если имя Вознесенского постепенно вписывается в ряд апостолов Содома – Аллена Гинзберга, Паоло Пазолини, Пабло Пикассо и прочих “прорабов тела” мировой культуры, а его повесть “Мостик” скоро станет учебником для ЛГБТ.

Листаешь книги Вознесенского и убеждаешься, что невод его поэзии загребаёт из моря жизни всё самое патологическое и античеловечное. Вот, например, отрывки из “Уездной хроники”:

*“Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын,
одна коса от Анечки осталась”...
Он бил её в постели молотком,
вьюночек, малолетний сутенёр...
Её ассенизаторы нашли,
её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной...*

Но этого мало. После выяснения отношений сына с матерью Вознесенский с садистским вдохновением описывал ссору матери и дочери из-за общего для них мужчины:

*“Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь”.
“В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать”.
“Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь”.
“Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать”.
“Доченька... Сволочь! Мне больше не дочь,
Прочь!”*

А с каким художественным восторгом изобразил наш “прораб духа” избивание женщины, свидетелем которого он был:

*Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора.*

*И взвизгивали тормоза,
к ней подбегали, тормоша,
и волочили, и лупили
лицом по снегу и крапиве. (? – Ст. К.)*

*Подонки, как они били подробно,
стиляга, Чайльд Гарольд, битюг!
Вонзился в дышащие рёбра
ботинок узкий, как каблук (!)*

“Деревянное сердце. Деревянное ухо”, — сказал о Вознесенском Солженицын и, видимо, был прав.

* * *

Много чего написано об Андрее Вознесенском при жизни и после его смерти. Закономерно, что в 2015 году о нём вышла книга в серии “Жизнь замечательных людей”. Мировая антреприза своих не забывает, да и как факт литературной жизни он достоин подобной книги, как по-своему незаурядное явление. В своих литературных трудах и воспоминаниях его версификационному таланту и его творческой судьбе воздавали многие “шестидесятники” — В. Аксёнов, П. Вегин, Ф. Медведев, М. Плисецкая, В. Золотухин, А. Демидова, Р. Щедрин, Ю. Любимов, М. Захаров... Всех не перечислишь. Но одно из размышлений о его творчестве запомнилось мне особенно подробно. Я говорю о статье поэта “кожиновского круга” Анатолия Передреева, написанной аж в 1968 году и озаглавленной “Чего не умел Гёте...”

Перечитывая книги Вознесенского, Анатолий Передреев пронизательно и спокойно писал об одном из его “монологов”:

“Я не скажу, что в этом монологе нет правды вообще. Правда есть, но только не художественного, а, если можно так выразиться, клинического характера. В нём выявлены некоторые возможности для психического расстройств, которые предоставляет жизнь современного города. Художественной правды, то есть той правды, которая занимается исследованием мироощущения нормального человека, здесь нет”.

Приводя несколько примеров из стихотворений и поэм Вознесенского, Анатолий Передреев продолжает: “Допустим, что мир таков. Так, во всяком случае, его увидел в своём сновидении А. Вознесенский. Как же он относится к этому “открытию мира”? Как это “трансформировалось” в его душе? Что он может сказать по поводу всего этого?”

*...Фразы бессильны.
Слова слиплись в одну фразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
“Оауу аоиы оааоиае!..” —
Это уже кричу я...*

Анатолий Передреев не знал, что Вознесенский с его хрупкой нервной системой, начиная с 1961 года, прошёл через все соблазны, связанные с погружением в стихию жизни американских битников, в стихию, родную для Аллена Гинзберга и Лоуренса Ферлингетти, что он знаком с галлюцинациями (глюками), вызываемыми ЛСД, и потому закончил свои размышления о “правде Вознесенского” с эффектной, но по-русски грубой прямоотой:

“В детстве на улицах, на базарах, в вагонах военных и послевоенных трамваев я видел нищих. Они просили, кто как умел. Кто пел под гармошку и без гармошки, кто просто твердил: “Подай, браток...”, кто молча протягивал шапку. Но один нищий действовал почти без промаха. Войдя в вагон трамвая, он дико и нечленораздельно начинал что-то говорить — почти выть — с неподвижно перекошенным ртом и остановившимися на очередном пассажире глазами. Ему подавали почти все, спеша передать его соседу. В нашем городке ходили слухи, что он баснословно богат, содержит молодую любовницу, наедине с которой изъясняется вполне нормально.

Да простит меня А. Вознесенский, но когда я читаю “оауу аоиы оааоиае”, я вспоминаю этого нищего: был ли он шарлатаном или у него, действительно, “слова слиплись в одну фразу”?

А. Передреев решил, что А. Вознесенский всего лишь талантливый мошенник, не поняв, что он по-своему органичен в своём патологическом виденье

мира. Но, “не понимая” Вознесенского как поэт и как читатель, не принимая его мира, в котором мать и дочь готовы выцарапать друг другу глаза из-за мужчины, мира, в котором сын убивает мать из-за денег и топит её труп в дощатом общественном сортире, ужасаясь тому, что “подонок” бьёт острым ботинком женщину, находящуюся в автомашине, ноги которой упираются, “как два белых луча”, в потолок автомобиля, крестьянский сын из саратовского села Сокур, русский красавец Анатолий Передреев живёт душою в другом мире. В мире другой любви и других воспоминаний.

*Не догорев, заря зарёй сменялась.
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слёз смеялась девушка одна.*

*Она была весёлой и беспечной,
Она была наивной и простой,
Была довольна службою диспетчерской,
Где премии лишали за простой.*

*Мы вежливо, мы сдержанно расстались,
О том, что было, не узнал никто...
А годы шли, а женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...*

*Мне кажется, что посреди веселий
В любых организованных огнях
Я, как дурак, кружусь на каруселях,
Кружусь, кружусь на неживых конях!*

*А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову, хохочет,
До слёз хохочет девушка одна...*

1961

Это чудесное стихотворение написано с тем же чувством, с каким Пушкин писал: “Я помню чудное мгновенье. . .” Никаких “выгребных ям”, никакого садомазохистского “избиения женщины” в автомобиле, ничего низкого, тёмного, болезненно-похотливого в этом шедевре нет. Стихи подобной великой простоты есть и у Николая Рубцова:

*Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.*

Такими стихами-воспоминаниями можно врачевать свою душу.

(Продолжение следует)